

Павел Загребельный

Евпраксия

Исторический роман

**Издательство АСТ
Москва**

УДК 821.161.2-311.6
ББК 84(4Укр.)6-44
З-14

Классика исторической литературы

Дизайн обложки *А. Воробьева*

Фотоматериалы для оформления обложки предоставлены
SupeStock/Vostok Photo

Загребельный, П. А.
З-14 **Евпраксия / Павел Загребельный; пер. с укр. И.Ф. Карабутенко. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 413,[3] с. – (Классика исторической литературы).**

ISBN 978-5-17-114220-9

Роман Павла Загребельного «Евпраксия» повествует о судьбе женщины, которая была рождена русской княгиней, девочкой-подростком очутилась на чужбине и была отдана в жены немецкому маркграфу, а затем вдруг неожиданно для всех стала королевой Священной Римской империи Адельгейдой.

Но могущество власти и блеск золота никогда не прельщали Евпраксию, а ее муж, Генрих IV, и его окружение, погрязшие в пороке, не смогли осквернить ее чистую душу. Она выступила с разоблачениями безнравственности и развратности своего мужа и до конца оставалась честной со всеми, хотя и честность, и чистота в те времена давались нелегко...

УДК 821.161.2-311.6
ББК 84(4Укр.)6-44

ISBN 978-5-17-0114220-9

© Загребельный П.А., наследники 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

Поруганіє же є слово лицемірно,
От супротивного супротивнос явленіє являє;
Поруганіє же образі д: поруганіє,
Похухнаніє, поіграніє, посміяніє,
і проуганіє єсть слово с укором глаголемо...

«Ізборник», 1073

Тільки й єсть у нас ворог —
Наше серце.
Благословіть, мамо,
Шукати зілля.
Шукати зілля на
Людське божевілля.

П. Тычина

БЕЗ НАДЕЖДЫ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ

Неожиданно открылся ей ужас колес. Непрестанное, безжалостное, упрямое вращение. Молчаливая безнадежность движения. Ехала, ехала, ехала... Куда, зачем? Словно изгнанный дух, затерянный в просторе, обреченный слоняться, блуждать, бродить, не в состоянии остановиться, пустить корни. Человек создан на земле сидеть или ехать вот так, невесть куда и зачем? До сих пор Евпраксии казалось, что вся ее прежняя двенадцатилетняя жизнь — словно хорошие колеса, переезды из Чернигова в Переяслав и в Киев, а там с одного княжеского двора на другой, но то была езда с надеждой, с возвращениями, там всегда над ней было нежное небо детства, была земля и зеленые травы, была мамка Журина и ласковые чеберяйчики, невидимые, но вездесущие — теперь все это оставалось, безнадежно и безвозвратно, позади, а жестокие колеса безжалостно, в тупом упрямстве отвозили ее дальше и дальше от Киева, от всего родного, от земли и неба, и дороги стлались враждебные и немые, земля не

принадлежала ей, она не принадлежала земле, оставляла навсегда мир детства, а может, то детство покидало ее, отрекалось от нее. На Евпраксию обрушивалось темное неистовство, она билась в княжеской повозке, пытаясь в ключья разодрать драгоценную свою одежду, кричала на Журину, замахивалась на нее маленькими кулачками, потом заходила в бессильных рыданиях. Куда везут ее? Зачем и почему? Как хотела она остаться и каким отчаянием наполнялось ее сердце от мысли, что невозможно возвратиться. Поедешь — не вернешься. Никогда, никогда, никогда!

Заливались в небе радостно жаворонки, кричали в вечерних травах коростели, квакали в теплой воде лягушки, скрипели колеса, тревожно ржали кони, верблюды отчаянно ревели, отдаляясь от привычных сухих степей.

Раздраженно кричали погонщики. Звенела оружием киевская дружина, которую великий князь Всеволод выделил сопровождать княжну Евпраксию.

Перекликались меж собой саксонские рыцари, посланные маркграфом Генрихом Штаденским для охраны его невесты, которую звали теперь уж не Евпраксией, а Пракседой, как это водится у латинян. А она не слышала ничего. Дорога пролегла перед нею, безнадежная, бесконечная и немая. Все дороги будут немymi, если покинешь родную землю.

Княжну везли на волах медленно и осторожно, как пиво, чтобы не взболтать. Повозка, запряженная шестью белыми волами, с подвешенной на ремнях из крепчайших воловьих шкур коляскою, что извне кована серебром, внутри же устлана восточными коврами (на белом фоне — зеленая путаница трав, ветви и пурпурные цветы). Обозу не было ни конца ни края. Дружина конная и пешая, саксонские рыцари, священники — киевские и саксонские, княжеские коморники, гридни, прислуга, повозки конные, воловьи, двухколесные возы, запря-

женные невиданными в этих землях и страшенно смердящими верблюдами, кони, ослы, верблюды под тороками — сила, богатство, роскошь, пышность.

Коморники скакали впереди бесконечного обоза, чтобы на княжеских поселеньях приготовить надлежащий ночлег княжне Евпраксии. Там разжигали вокруг костры, светили в осаде лучины и свечи, а дорога все равно была для нее темной. Мокрые леса насмехались над ней, перебегая впереди обоза с места на место, затевали какую-то бешеную круговерть, будто великаны зеленые колеса безнадежности, и тогда Евпраксия не выдерживала, повелевала остановить повозку, прыгала на землю, становилась обыкновенной двенадцатилетней девочкой, хотела куда-то идти, бежать одна, без никого, остаться наедине с миром, с ветрами и небесами. И тут же с горечью убеждалась, что у нее только и осталось — земля под ногами, и такая скользкая, что невольно казалось: мир вот-вот растворится здесь, на этой дороге, исчезнет. В отчаянии Евпраксия снова заходила в рыданиях, падала оземь, и тогда мамка Журина наклонялась к ней, гладила ее мягкие, словно дым, волосы и тихо говорила:

— Дите мое, жена еси...

Два исповедника, оба конные, оба с мечами напоказ (кресты спрятаны где-то под черными одеяниями) — один из Киева, бородастый, зарос пышной щетиной, другой из Саксонии, остриженный и выбрит гладко, что твой угорь, — вырастали возле лежащего ребенка, с целью утешений, ибо для одного девочка была княжной, а для другого женой его властелина — маркграфа, и оба испытывали беспомощность собственную и своего бога, бормотали растерянно: «Все, что от природы, совместимо с волей божией» (тот, что из Киева), «*Lamentes et flentes* — со стоном и плачем» (тот, что из Саксонии).

А бесконечный обоз тем временем упорно и неуклонно продвигался вперед и вперед по едва обозначенным дорогам; оставались позади затаившиеся в пущах четы-

рехлицы древние боги-идолы, умирали четырехсолнцевые размеренно-степные дни, умялялись четырехветровые русские небеса.

Утомительно-пугливое просонье стряхивало шепот с трав, мир окутывали туманы, такие плотные, что в них не летали даже ангелы, а то внезапно раздиралось небо и падали на землю бури, в неистовых порывах разметывали все вокруг себя, и тогда Евпраксия молилась в душе какой-то неведомой силе, чтоб и впрямь все исчезло, ничего не осталось, а она чтоб очутилась дома, в Киеве, на Красном дворе, возвратилась туда, куда нет ей возврата.

И тогда небеса зацветали слезами, и ветры хохотали и бесновались, и над всем царило безнадежно-убийственное движение колес.

Еще дитя, а уже ведь и жена. Чем больше удалялись от Киева, тем меньше и меньше должно было оставаться в ней от детского мира, а вместо этого нахально врывается в душу мир взрослый, порожденный этим безостановочным продвижением вперед и вперед, обновлением и сменой пространств, барахтаньем меж днями и ночами безбрежного моря времени.

Безбрежного ли? Даже не оглядываясь, видела Евпраксия киевский берег своего путешествия, золотые купола великого города, слышала звон колокольный и крик людской, дрожала в людской суете среди тех, кто хотел как можно скорее протолкаться к трапезе и к дарам, которыми щедро сыпал великий князь киевский Всеволод в честь помолвки своей дочери Евпраксии.

Свадебный обоз в далекую Саксонию начинался у Золотых ворот.

Предусмотрительно собранный и заготовленный, он еще где-то укрывался до поры до времени на киевских площадях и в киевских проездах, а первой должна была покинуть Киев, пройти сквозь Золотые ворота она, молодая княжна, дитя недорослое, а уже и жена какого-то неведомого маркграфа, богатства, могущества и наглости которого хватило, чтобы посягнуть на ее руку.

Князь и княгиня, верховные иереи церкви, мужи киевские, старшие и младшие, расположились на заборе у надвратной церкви; визжали рога, гремели котлы, крик бил в небо, а небо откликалось медным эхом колоколов, когда Евпраксия двигалась через Золотые ворота. Княжеское достоинство не позволяло ей идти пешком, ехать верхом приличествовало мужам, волов украшали для преодоления тоски и тяжести последующего длинного странствия, тогда как же должна была покинуть вельможная невеста главный город земли своей? Ее вынесли в открытой золоченой лектике в виде кораблика с резным носом и круто стесанной кормой; лектику несли восемь силачей-сорокоходов, несли легко, ловко, без малейшего покачивания, так что Евпраксия не сидела, а стояла посредине носилок, не прикасаясь к стенкам и ни за что не держась руками, — стояла в отчаянно-торжественном оцепенении.

С киевского вала, с заборола, будто с самого неба, летели на нее цветы и венки; цветы устилали дорогу, они росли позади, отгораживали Евпраксию от Киева, возможно и навеки. Ни оглянуться, ни заплакать, ни закричать в отчаянии...

А там уж начинал выходить из города и обоз — одна половина через Золотые ворота, другая через Жидовские, обе вскоре соединились на Белгородской дороге. Евпраксия перешла из лектики в окованную серебром пышную свою повозку, белые волы с украшенными рогами, спокойно жуя жвачку, потянули драгоценный груз. Все потонуло в облаках пыли, мир исчез с глаз несчастной девочки, и тогда впервые вспомнила она про свою власть и в первом приступе ярости закричала:

— Наперед хочу!

К Белгороду подъезжала впереди своего обоза, и мост через Ирпень первыми перешли шесть белых волов, тащивших серебром окованную повозку; дальше обоз должен был продвигаться таким же образом, с той

лишь разницей, что под вечер опережали его коморники, чтобы приготовить ночлег, да пошаривала по обеим сторонам дороги дружина, предотвращая внезапные нападения. Всегда ведь найдутся, и немалым числом, охотники поживиться, а про обоз княжны Евпраксии во все концы уже разлетелись слухи, удивления и восторги, да такие, будто таились там красота и богатство со всей земли русской: меха соболиные, бровые, горностаевые, черных куниц, песцов, белых волков, груды золотых полос и пенязя золотой и серебряной утвари, дорогого оружия, украшенного самоцветами; а золота, мол, на возах и в тороках, как листьев осенью, а еще было бессчетно всякого съестного припаса, прославленного пива пшеничного, без которого славянской душе неведому прожить хотя бы день; гнали целые табуны говяда на убой, отары овец, вели сотни скакунов, за каждого из которых можно купить целое село, везли корчаги меду, круги воска, шкуры, полотно, шерсть; тут хватило бы на беззаботно-роскошную жизнь не одной вот такой тоненькой девочке, а тысячам людей.

Вминалась под обозом земля, пыль застилала полсвета, по ночам сотни костров устремлялись навстречу звездному небу; в болотах и топях стлали на скорую руку мосты, а когда из-за неожиданных ливней внезапно создавались заторы, тогда вязли волы и кони, тонули возы, мучились без меры люди, проклиная и далекую дорогу, и князей, и самого господа бога. А бородатый исповедник молодой княжны, не отваживаясь попрекать измученных людей за богохульство, смиренно ронял взятые из священной книги слова, до сути которых не мог докопаться никто: «Проклинайте землю Мероз, пропроклинайте землю Мероз!»

Что за земля, где она и когда была такая — кто же о том ведал?

Евпраксии представлялась она Саксонией, той Нормаркой, которой владел теперешний ее муж граф Ген-

рих Штаденский — незнакомый и враждебный, чужой, как слово «Мероз». Проклинайте землю Мероз, прокляните, прокляните поселенцев ее...

Хотя окованная серебром повозка была тяжела, шестеро белых волов тащили ее дружно и упрямо, погонщики подобраны были умело и предусмотрительно, но все же и они неминуемо должны были утомиться от далекой дороги; однообразие движения притупляло бдительность, и однажды на непробитых путищах среди темных пущ повозка попала в трясины. Сначала никто, в сущности, и не заметил этого, волы барахтались в трясине, погонщики дружно покрикивали на них, надеясь вырваться на твердую землю, но вот, словно вдруг увидели погонщики, что когда-то ослепительно белая шерсть на волах все плотней и плотней покрывается грязными брызгами и потеками, высокие колеса все глубже и глубже уходят в ненасытную топь, а княжна тем временем, не боясь болота, не ведая страха перед сумерками, которые уже надвигались, не заботясь об измученных, обессиленных до предела людях, смотрела на их старания, будто на развлечение, хлопала в ладоши, то и дело обращаясь к мамке Журине, чтобы спросить о чем-то, а потом неожиданно княжну охватил приступ гнева, ей опротивели все, и она велела всем до единого убраться прочь отсюда, выпрячь волов, оставить ее одну с мамкой Журиной, потому что она хочет ночевать вот здесь, среди трясины, заброшенная в пущу, затерянная среди непролазных путищ, одна под небом, под луной, под звездами, как ночуют и вечно живут чеберяйчики.

— Правда, чеберяйчики живут так? — спросила она у мамки Журины.

— И так живут, дите мое, — вздохнула Журина, хорошо понимая, что прихотям Евпраксии нет пределов и поэтому не следует и противиться им.

Вдвоем остались они в богатой повозке, светила с неба огромная страшная луна, от болот тянуло пронизы-

вающим холодом, от которого не спасали ни толстые ковры, ни мягкие меха, потому что мерзло уже и не тело только, — сама душа мерзла.

ЛЕТОПИСЬ. ДОПОЛНЕНИЕ

Позоров в летописи не заносили.

Если же и написано было, что Святослав прижил сына с рабыней Малушей, то не усматривалось в этом ничего оскорбительного, потому что известно ведь всем, кому нужно: рабыня та — из княжеского рода, дочь древлянского князя Мала, укрощенного беспощадно-мстительно княгиней Ольгой, которая отторгла Мала от его удельных Дерев и, пленив, заперла доживать век свой в Любечи — вроде бы князь и одновременно раб, а дочь, выходит, рабыня.

И если написано было, как Владимир, убегая от печенегов, растеряв в стычке всю свою дружину, спрятался от смерти под мостком в Васильеве, то считалось это не позорной трусостью, а лишь находчивостью и хитростью великого князя, а хитрость в те времена ставилась чуть ли не выше ума и отваги.

И если упоминалось о хромоте Ярослава, то не для принижения естества, а лишь для лишнего и недвусмысленного напоминания, что князь тот хром был естеством, но не духом.

Почтительность водила рукой летописца даже тогда, когда рассказывал он о бегстве из Киева Ярославово сына Изяслава, изгнанного киевлянами явно позорным образом потому, что не давал людям оружия для защиты от половцев.

Зато промолчал летописец, как Изяслав, слоняясь по Европе, выторговал ценой земли своей и народа своего возможность вернуться в Киев и дошел этаким постыдным торгом и до германского императора Генриха, и до папы Григория.

Может быть, летописец плакал от позора, стыда и унижения, но никто не видел тех слез.

Поэтому и не следует удивляться, что никто из летописцев не отважился заострить перо, развести черное железо для неистребимых чернил и записать на коже телячьей, ягнячьей, а то и ослиной, что лета тысяча шестьдесят восьмого князь Всеволод, «пятыязычное чудо», любимый сын Ярослава, внук Владимира, правнук Святослава, зять ромейского императора Константина Мономаха, отец двух детей от ромейской царевны, — сына Владимира, прозванного в честь вельможного деда Мономаха, и дочери Анны, именуемой в народе просто Янкой, — что этот, стало быть, отмеченный высоким происхождением и не менее высокими семейными связями князь после смерти своей первой жены возьмет себе в жены не принцессу, не сестру императорскую, не дочь королевскую, княжескую или боярскую хотя бы, а простую переяславскую девушку, дочь веселого человека Ясеня, который сидел себе вдали от княжеского двора, в подчревии Переяслава, пропадая в недостойном унижении, неизвестности и никчемности, ведомый людям тем лишь, что строгал детские зыбки.

Ясень был вельми веселый человек, но в летописях напрасно искать упоминаний о веселых людях, ибо известно, что только равные смеются среди своих, а летописи слагались для последовательно упрямого проследования и утверждения человеческого неравенства, которое неминуемо сопровождается торжественностью и чрезмерной степенностью.

Простой человек, что строгал зыбки, не пытался выяснить, что там означает его веселый нрав, он просто унаследовал от предков обычай весело проводить зиму, и старый год, и смерть, и нужду, радостно встречать весну, сытые дни, когда колют свиней, режут говяды или охотятся на крупного зверя. Не следует прибегать к предположениям, будто Ясень должен

был непременно осознавать, что за смехом никогда не скрывается насилие, что смех не вызывает крови и пламени, что это лицемерие и обман никогда не смеются, а всегда напяливают маску солидности, что смех знаменует не страх, а утверждение той силы, которая происходит от плодородности земной, от рождений и вечных обновлений, от яств и питий вдоволь, что, в свою очередь, способствует бессмертному продолжению поколений с деда-прадеда.

Где там! Ясень был очень далек от подобных глубоко-мысленных раздумий.

Он просто напевал, посмеивался в светлую, словно ясеневая стружка, бороду и строгал зыбки. Он знал, что зыбку нужно делать из дерева белого и легкого, как сон, и — веселого, чтобы легко и счастливо росли в этих колыбелях воины, хлебобобы, люди смышленные, ловцы, простые люди и князья, глупые и гении, пустомели и косноязычные. Правда, известно было Ясеню и то, что с течением времени даже самое светлое дерево тускнеет, видел он колыбели старые и темные, как века, но с тем большим запалом строгал новые, светлые и веселые, приговаривая: «Нам лишь бы зыбки, а детей мы наделаем!»

Про Ясеня можно бы и не вспоминать, ибо работе его суждена была безымянность, как и всему, что идет людям в повседневное употребление, а сам он, хотя и стал (совершенно случайно, как про то уже упоминалось) сватом князю Всеволоду (в дальнейшем и не просто князю, а великому киевскому князю), никогда в княжеский двор допущенным не был; Ясенева родная дочь отвернулась от отца, и кто-то выдумал потом, будто она не какого-то там неизвестного переяславского, а славного половецкого колена, от хана Осеня. Безжалостное время брало свое, и в дальнейшем никто уже не мог разобрататься, Ясень или Осень. Всеволодово же имя таким образом сохранили от унижения перед потомками за сей странный брак.

Собственно, стоило ли ему особо удивляться, если припомнить, что первой женой у Всеволода была ромейская царевна Мария Мономаховна, и от нее, стало быть, просто благодаря своей врожденной любознательности князь ведал, как устраивались браки императоров греческих. Доверенные люди императора разъезжались во все концы, собирали со всего безграничного государства самых красивых девчат, заботясь, само собой разумеется, о знатности рода, но каждый раз делая исключение для особо красивых; свозили этих девчат в Царьград, ставили их пред светлые очи всемогущего василевса, и он уже сам избирал ту, чью голову должна была украсить золотая диадема императрицы. Переяславская земля — это не империя ромеев, рассылать бесчисленное множество гонцов тут и некуда: за день один всадник может проскакать по всем селам и городкам и рассмотреть все, что нужно.

Поэтому Всеволод искал себе жену способом почти таинственным, без лишнего разглашения и без лишних свидетелей. Собирал девчат-переяславок княжеский любимый дружинник, красавец Жур. Он и нашел Ясенеvu дочь Ясю, которой суждено было стать княгиней Анной, для себя же заприметил в далеком лесничестве возле Днепра девушку еще красивей Яси, но до поры до времени скрывал ее от князя. Жениться сразу после князя Жур не успел, потому что на русскую землю напали половцы, великий князь Изяслав позвал своих братьев Всеволода и Святослава идти против степняков, на Альте была битва, княжеские дружины не устояли, побежали, князья побежали тоже аж до Киева, и вот тогда и произошло позорное изгнание Изяслава из Киева простым людом, который хотел защищать русскую землю от пришельцев, а князь боялся доверить народу оружие. Бежал великий князь Изяслав с сыновьями и великим обозом, бежал Всеволод с молодой своей княгиней. Изяслав ударился на запад, искал убежища у польского князя Болеслава, а Всеволод очутился в Кур-

ске, в вотчине брата Святослава, потому как в Переяславе не чувствовал себя в безопасности ни от половцев, ни от киевлян, посадивших на стол полоцкого князя Всеслава, перед тем выпущенного ими из поруба, в котором держал его Изяслав. Сына, Владимира Мономаха, Всеволод послал с дружиной в Ростов, а сам то снова возвращался в Киев, встречать старшего брата Изяслава, вернувшегося после изгнания и учинившего кровавую расправу над киевлянами, то бегал к брату Святославу, с которым сговаривался прогнать Изяслава из Киева, может, и навсегда, раз тот не сумел надежно держаться на столе великого Ярослава, их отца, не навел порядка в земле своей, не избавил ее от половцев, а мстил киевлянам, да еще до такой степени, что даже Антоний Печерский вынужден был бежать к Святославу в Чернигов.

В то время как Изяслав заботился лишь о том, чтобы вернуть себе киевский стол, для чего привел с собой полки польского князя Болеслава, Святослав в одиночестве с малой дружиной разбил возле Сновска двенадцать тысяч половцев и стал славен в земле своей. Всеволод, хотя при жизни Ярослава считался умнейшим из сыновей и был любимейшим чадом великого князя, теперь никак не мог найти себе места, ведь уже и сын его, Мономах, становился славнее собственного отца; жизнь Всеволода нарушилась после смерти первой жены, он метался туда и сюда, бегал из волости в волость, нигде не мог нагреть места, бросался то к Изяславу, то к Святославу, но старший брат сам, может, и был, как про то говорит летописец, добрым человеком, но сыновей имел злых, в особенности же старший Мстислав не любил никого и ничего на свете, а тем самым не любил и своего высокоученого стрья. Святослав же, выказывая, когда нужно, храбрость, сумел-таки подговорить Всеволода против Изяслава; младшие братья пошли на Киев, стали сначала в Берестове, а когда Изяслав оставил стольный

город, Святослав перешел в Киев, а Всеволоду отдал Чернигов.

Во время этих метаний родила новая княгиня Всеволоду сына Ростислава и дочь, которая была названа по-гречески Евпраксия, что означало:

«Счастливая».

Дружинник Всеволод Жур, хотя и с некоторым промедлением, все-таки сумел улучшить минуту и вывезти из надднепрянской пущи ту огнеоую девушку, которую заприметил, когда искал жену для своего князя. Девушке той податься было некуда, она сидела в глухом лесничестве и ждала, пробьется ль кто-нибудь сквозь пущу, чтобы умыкнуть ее для жизни в широком мире. Жур пробился однажды, увидел, влюбился, поцеловал, велел ждать, потом пробился еще раз, посадил на коня — и вот уже гибкая чернявая лесо-вичка стала Журиной, и вот уже родила дружиннику сына, которого назвали, чтоб не ломать особо голову, Журилом.

И то ли заприметил слишком красивую жену дружинника равнодушный к красоте высокоумный князь Всеволод и пожелал иметь ее всегда перед глазами, то ли свежееиспеченная княгиня Анна обленилась за эти три года настолько, что начисто забыла о своем происхождении, о своем веселом отце Ясене, обычаях своих предков, забыла и о выкормленном ею первенце, сыне своем Ростиславе, — как бы там ни было, но только случилось, что Журину взяли в княжеский бабинец кормилицей к маленькой Евпраксии, и вот маленькая княжна, подрастая, будет называть Журилу «братиком», как и старшего княжича Ростислава, а простую дружинницкую жену Журину — «мамой», в то время как свою подлинную мать Анну — «княгиней». Ибо не та мать, что родила, а та, что выкормила.

ЧЕБЕРЯЙЧИКИ